



*Б* Отто фон  
ИСМАРК

МЫСЛИ  
И  
ВОСПОМИНАНИЯ



Харьков  
«ФОЛИО»  
2018



## ТОМ I



### Глава первая ДО ПЕРВОГО СОЕДИНЕННОГО ЛАНДТАГА

#### I

В качестве естественного продукта нашей государственной системы образования я к пасхе 1832 г. окончил школу пантеистом. Если я и не был республиканцем, то все же был тогда убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства; к этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться *одному*, между тем как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей. Из подготовительной гимнастической школы Пламана с ее традициями Яна, в которой я воспитывался с шестилетнего до двенадцатилетнего возраста, — я вынес наряду с этим немецко-национальные впечатления. Но эти впечатления оставались в стадии теоретического созерцания и были не настолько сильны, чтобы вытравить во мне врожденные прусско-монархические чувства. Мои исторические симпатии оставались на стороне власти. С точки зрения моих детских понятий о праве, Гармодий и Аристокитон были, так же как и Брут, преступниками, а Телль — бунтовщиком и убийцей. Меня раздражал любой немецкий князь, противодействовавший до Тридцатилетней войны императору; но, начиная с великого курфюрста, я был уже настолько пристрастен, что осуждал императора и находил естественной подготовку Семилетней войны. Тем не менее немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации (Burschenschaft), которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стремление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их еще ближе, то не мог одобрить и их экстравагантных политических взглядов, объяснявшихся недостатком образования и знакомства с существующими, исторически сложившимися условиями жизни, которые мне, в мои 17 лет, приходилось наблюдать непосредственной, нежели большинству старших, чем я, студентов; у меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности.

В глубине души я тем не менее сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству; с моим другом, американцем Коффином я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже чем через двадцать лет.

Мой первый семестр совпал с Гамбахским праздником (27 мая 1832 г.), его песни остались в моей памяти; третий семестр совпал с Франкфуртским путчем (3 апреля 1833 г.). Эти факты произвели на меня отталкивающее впечатление; мне, воспитанному в прусском духе, претило насильственное посягательство на государственный порядок. Я возвратился в Берлин не столь либерально настроенным, как до моего отъезда оттуда. Но эта реакция вновь ослабла, после того как я вошел в более непосредственное соприкосновение с государственным механизмом. То, что я думал о внешней политике, которой публика мало в то время интересовалась, было в духе освободительных войн, воспринятых под углом зрения прусского офицера. При взгляде на географическую карту меня раздражало, что Страсбургом владели французы, а посещение Гейдельберга, Шпейера и Пфальца возбудило во мне чувство мести и воинственное настроение. В период, предшествовавший 1848 г., аускультатору каммергерихта и правительственному референдарю без связей в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Ему нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократической лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. В качестве примера, достойного в этом отношении подражания, мне в моем семейном кругу указывали тогда на таких людей, как Поммер-Эше и Дельбрюк, а в качестве подходящего направления деятельности рекомендовали работать [в органах] Таможенного союза. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность даже после того, как встретил мало поощряющий прием со стороны министра Ансильона при моем обращении к нему по этому поводу. Как на образец тех качеств, которых недоставало нашей дипломатии, он указывал — не мне лично, а высшим сферам — на князя Феликса Лихновского, хотя личность эта вела себя в Берлине так, что не могла, казалось, рассчитывать на сочувственное отношение со стороны министра, происходившего из среды протестантского духовенства.

Министр находил, что наше доморощенное прусское поместное дворянство не могло дать дипломатии необходимого ей пополнения и не в состоянии было возместить недостаток в дарованиях, который он замечал в личном составе этого ведомства. Такой взгляд имел известное основание. В качестве министра я всегда питал особое расположение к коренным прусским дипломатам, как к своим землякам, но долг службы редко позволял мне проявлять это предпочтение на деле: обычно — лишь в тех случаях, когда я имел дело с лицами, перешедшими с военной службы на дипломатическую. У чисто прусских дипломатов из штат-

ских, не знакомых вовсе или недостаточно знакомых с военной дисциплиной, я обыкновенно встречал излишнюю склонность к критике, к всезнайству, к оппозиции и личной обидчивости; все это усиливалось неудовольствием, которое испытывает эгалитарное чувство старого прусского дворянина, когда человек одного с ним положения оказывается выше его или, — вне отношений, связанных с военной службой, — становится его начальством. В армии эти круги на протяжении столетий свыклись с подобной возможностью и, достигнув более высоких постов, вымещают на своих подчиненных остаток того недовольства, которое испытывали сами по отношению к прежнему начальству. В дипломатии дело осложняется тем, что аспиранты из числа состоятельных лиц или лиц, случайно владеющих иностранными языками, особенно французским, претендуют в силу этого на особые преимущества и оказываются самыми требовательными и наиболее склонными к критике руководящих сфер. Знание языков, хотя бы в объеме знаний обер-кельнера, легко давало у нас людям повод считать себя призванными к дипломатической карьере. Так было до тех пор, пока предъявлялось требование, чтобы наши дипломатические донесения, в особенности адресуемые *ad regem* [королю], писались на французском языке. Правда, это соблюдалось не всегда, но официально оставалось в силе до моего назначения министром. Из числа наших посланников старшего поколения я знал нескольких, которые, не разбираясь в политике, достигли высших постов единственно благодаря тому, что свободно владели французским языком; да и они сообщали в своих донесениях только то, что могли бегло изложить на этом языке. Мне еще в 1862 г. приходилось писать свои служебные донесения из Петербурга по-французски; посланники, которые писали и частные письма министру на этом языке, считались в силу этого одаренными особым призванием к дипломатии, хотя бы даже они были известны как неспособные к политическому суждению.

Кроме того, Ансильон был не так уж неправ, находя, что большинство аспирантов из кругов нашего поместного дворянства обычно лишь с трудом отрешалось от узкого круга своих тогдашних берлинских, так сказать, провинциальных взглядов; он считал, что на дипломатическом поприще им было бы нелегко изжить в себе специфически *прусских* бюрократов и приобрести лоск *европейских*. К чему это приводило, становится ясным, когда просматриваешь списки наших дипломатов того времени; поражаешься, как мало среди них настоящих пруссаков. Быть сыном аккредитованного в Берлине чужого посланника уже само по себе являлось основанием для привилегий. Дипломаты, выросшие при мелких дворах и принятые затем на прусскую службу, нередко были в более выгодном положении по сравнению с местными уроженцами, так как держались в придворных кругах с большей *assurance* (уверенностью) и были менее застенчивы. Примером мог бы послужить прежде всего господин фон Шлейниц. В списках следуют далее члены владетельных домов: происхождение заменяло им таланты. Ко времени когда я был назначен во Франкфурт, кроме меня, барона Карла фон

Вертера, Каница и женатого на француженке графа Макса Гацфельда, я едва ли припомню хотя бы одного дипломата прусского происхождения, который возглавлял бы где-либо крупную миссию. Иностранные фамилии котировались выше: Брасье, Перпонше, Савиньи, Ориола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они «издалека». [Дипломаты прусского происхождения] обычно обнаруживали, кроме того, недостаточную готовность брать на себя ответственность во всех случаях, когда нельзя было укрыться за совершенно точными инструкциями, подобно тому как это было в армии 1806 г., при господстве старой школы времен Фридриха. Мы уже тогда выращивали непревзойденный ни одним государством офицерский материал — вплоть до полкового командира, но за этими пределами прусская кровь перестала оплодотворяться дарованиями, как это было при самом Фридрихе Великом. Наши полководцы, добивавшиеся наибольших успехов, — Блюхер, Гнейзенау, Мольтке, Гебен не были исконными пруссаками, точно так же как Штейн, Гарденберг, Моц и Грольман — на поприще гражданской службы. Дело обстоит так, как если бы наши государственные люди, подобно деревьям в питомнике, нуждались в пересадке для полного развития своих корней.

Ансильон посоветовал мне выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора, а затем уже окольным путем, поработав в Таможенном союзе, искать доступа в *германскую* дипломатию Пруссии; призвания к европейской дипломатии он, повидимому, не ожидал от отпрыска отечественного помещного дворянства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора.

Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение аускультатора начиналось с ведения протоколов уголовного суда. Советник фон Браухич, к которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из «расследований», как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организация участников по клубам, списки, нивелирующее влияние совместного занятия запретным представителем положительно всех условий — все это уже в 1835 г. свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнце (октябрь 1891 г.). Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы министерством юстиции, как говорили, по настоянию князя Витгенштейна и не были возвращены по крайней мере до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде.

Проработав четыре месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынуж-

денным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадией самостоятельной работы юриста-новичка. Дела этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии Преториус и велись при нем совсем зелеными юнцами-аускультаторами, которые производили, таким образом, *in cogroge vili* [на второстепенном материале] свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина Преториуса, но обычно в его отсутствие. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что, когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить: «Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа»; иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует.

Однажды мне пришлось обратиться к нему, так как я оказался в затруднительном положении: мне, в мои двадцать лет и несколько месяцев, предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской четы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал Преториуса в дурном настроении не вовремя разбуженного пожилого человека, разделявшего к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов нерасположение к молодым дворянам. «Досадно, господин референдарий, — сказал он мне с пренебрежительной усмешкой, — когда человек до такой степени беспомощен, я покажу вам, как это делается». Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена — нет, муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась в своей невинности и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем. Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами: «Не будь дурой. Зачем тебе это? Придешь домой — муж изобьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто «да», и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». — «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», — завопила женщина. После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами: «Она не хочет внять голосу благоразумия; пишите, господин референдарий...» — и продиктовал мне заключение; оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова: «После того как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения, основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, было решено, как ниже следует». Мой начальник поднялся со словами: «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его